



Б. К. ЗАЙЦЕВ

Молодость — Иван Бунин

Можно ошибиться в годе, когда встретились. Но не ошибешься в том, что была зима. Неопалимовский переулок, звезды на ночном небе, огненно-сухая, снежная пыль из-под копыт «резвого». Яркий свет, тепло, запах шуб в передней профессора Р. Хозяин, нестарый еще психиатр с волнистыми волосами, в белом галстуке (при пиджаке), пел в гостиной у рояля, громко и смело:

«Целовался крепко... да-а... с твоей же-е-ной!» (Схватывая себя при этом за кок на лбу.)

В столовой молодежь — не то художники, не то студенты, не то поэты, не весьма основательные дамы, и с черными кудерьками, карими чудесными глазами сама хозяйка, Любочка Р. Все эти Зиночки, Лены, Васеньки — ее приятели. У Любы тяготение к модерну. У нее встретишь и Бальмонта, и Балтрушайтиса. Она читает «Симфонии» Андрея Белого. И ее брат, Георгий, только что вернувшийся из Сибири, вскоре разовьет свой «мистический анархизм».

Психиатр занимался циркулярным психозом, ездил в клиники на Девичье поле, на дому лечил гипнозом (больше пьяниц). Принимал у себя молодежь. Относился к читателям «Симфоний» с благодушной снисходительностью, частью как к пациентам. Но задавала тон Люба — ласковостью, весельем, оживлением. Весь этот круг литературно-артистический носил оттенок легкой беззаботной художнической богемы.

Так же шумели, хохотали и танцевали в промежутках между пением и в тот вечер, когда в столовой, под ругань баритона из гостиной, впервые увидел я Бунина. Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы — тогда русо-каштановой — изящный, суховатый, худоща-

вый. Ласково блестя на него глазами, встряхивая черными завитками волос, улыбалась из-за самовара Любочка.

Пение оборвалось, раздались аплодисменты. Психиатр быстро вошел в столовую, оглядел всех победоносно. Налил стакан воды из стеклянного кувшина, залпом выпил, надышав туда. Поправил шевелюру и, сверкнув мужицкими своими глазами, весело спросил:

— Ну, как?

Это относилось к пению. Все зааплодировали, он тронул белый бессмысленный галстук и на лакированных ботинках проследовал в кабинет, где какой-нибудь Васенька выяснял отношения с какой-нибудь Зиночкой.

Этот свет и тепло квартиры, белизна скатерти, Любины кудряшки, молодое оживление вокруг, остроугольный, элегантный Бунин — так и смешались в памяти с морозной ночью и звездами над Москвой — в ощущении остро-поэтическом.

* * *

Встретились мы будто бы случайно. Но, принадлежа к одному кругу, занимаясь одним делом, не могли и далее не встречаться. Виделись у Леонида Андреева, Телешова, Сергея Глаголя. А там Литературный кружок, ресторан «Прага»...

Пестрой и шумной, легкой и радостной кажется теперь жизнь тогдашней Москвы. Может быть, просто молодость? Необычайное по силе чувство жизни?

Но — и само время: какое привольное, сколь подходящее для артистического! Какой интерес к литературе! Сколько молодых дарований... Сколько споров, волнений, чтений, удач и неудач, изящных женских лиц, зимних санок, блеска ресторанов, поздних возвращений...

Иван Алексеевич жил тогда по гостиницам: в номерах «Столица» на Арбате (рядом с «Прагой»), позже в «Лоскутной» и «Большом Московском».

Оседлости не любил Бунин — нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то и в Крыму, или вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось!

Живя в Москве, бывал и у нас, по разным Остоженкам, Спиридоновкам, Богословским и Благовещенским. Под знаком поэзии и литературы входил в мою жизнь: с этой стороны и остался в памяти. Всегда в нем было обаяние художника — не могло это не действовать. Он был старше, опытнее и сильнее. Я несколько его боялся и по самолюбию юношескому ревниво себя оберегал.

Мы говорили очень много — о стихах, литературе, модернизме. Много спорили — с упорством и горячностью, каждый отстаивал свое — в глубине же, подспудно, любили почти одно и то же. Но он уже сложился, я лишь слагался.

На «Средах» слушали чужие вещи и свои читали. Леонида Андреева, милого Сергея Глаголя я не стеснялся.

Но вот Бунин именно меня «стеснял». И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка как раз подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый). Но когда Бунин слушал, иногда фразы застревали в горле.

Раз, выехав вечером из Москвы в Петербург — Иван Алексеевич, я и жена моя, занимались мы в вагоне часов в десять вечера чтением вслух: он читал стихи, я — рассказ (вез его в «Шиповник»). Именно там, с глазу на глаз, в купе второго класса Николаевской дороги, при смутном свете свечи, сильно мигавшей, неповторимом запахе русского вагона, неповторимо плавном ходе поезда Империи и ощущал я давление в горле — на сомнительных словесных выражах. Поезд неукоснительно-покойно шел зимними нашими полями. Тепло струилось по коридору, занавеска на фонарике покачивалась — полные своих планов, стремлений и чувств, мы летели к туманному Петрограду.

* * *

«Почему вы грустны? Почему сегодня такой молчаливый?» — спрашивал меня иногда на «Средах» Бунин.

В молодости грусть и замкнутость — не проявление ли сил еще бродящих, неуверенных? Робости, гордости?

Во всяком случае, простые слова старшего, взгляд сочувственный — как-то оживляли. И хотя отвечал я не весьма складно и продолжал молчать, все же это облегчало и вот *запомнилось*. Значит, было на пользу.

В один апрельский вечер «Среда» собралась у Сергея Глаголя в Хамовниках.

Кто тогда читал, я не помню. Но в этой самой квартире, где из окна видна была каланча, а в комнатах — смесь акушерства с литературой и этюдами Левитана, и подарил мне в тот вечер Иван Алексеевич только что вышедшую книгу: «Песнь о Гайавате» в своем переводе.

Мы всегда ужинали после чтения, засиживались поздно. Извозчики громыхали, развозя по Москве полусонной — кого в «Лоскутную», кого на Чистые пруды. А кто и пешком брел. Я

именно так и мерил пространство к Молчановке, там, в доме Сусоколова, в деревянном особняке, снимал антресольную комнату за пятнадцать рублей — с лежанкою, тополем за окном, выходящим на переулок Годаинский, где за углом, на Арбате, и жил Бунин в «Столице». Отсюда ходил я в Спасо-Песковский к будущей своей жене, сюда, по скрипучей лесенке, забегала и она.

Теплое было утро, влажное, тихое... с каплями росы, благоухающими почками тополевыми. Может быть, слегка даже дождик накрапывал? Шел третий час, четвертый. Помню, сидел у окна раскрытого, и читал эту «Гайавату», и мечтал о чем-то, восхищенный, взволнованный. И совсем стало светло... а еще что?

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Только и всего. Поэзия была. И что-то от нее произрастало в сердце.

* * *

В доме Армянских, кораблем воздымавшемся на углу Спиридоновки и Гранатного, позже мы жили. Над переулком свешивались ветви чудесных тополей и лип особняка Леонтьева. Недалеко от нас дом Рябушинского, с собранием икон. Недалеко и церковь Вознесения, где Пушкин венчался, — белая, огромноплавная, с куполом-небосводом*.

В доме Армянских много у нас уже бывало народу, во главе с тою же Любочкой Р., и профессор заглядывал, и Бальмонт, Сологуб, Городецкий, Чулков, Андрей Белый... и все Зиночки, Васеньки, Машеньки прежних времен. И Муратов, и Стражев, Койранский, Высоцкий — сверстники и сотоварищи писания. Иногда спал на турецком диване З. И. Гржебин, «Шиповник», мой первый издатель, приезжавший из Петербурга. Как «неариец», не имел в Москве права жительства — останавливался у нас.

И конечно, бывал здесь Иван Алексеевич Бунин.

Дух был богемский и бестолковый. Путано, шумно, нехозяйственно — но весело. И весьма молодо. В сущности, то же, что и у Любочки Р., только без пения и циркулярного психоза. И с преобладанием литературы, еще большим на ней ударением. Очень много читали здесь вслух — и я сам, и другие. И Белый, и Бунин. Старше нас, но отчасти меж Зиночек, Любочек, Диесперовых и Грифцовых молодея, читал Бунин стихи...

* Ныне разрушена.

Вновь нас обольщал. «Острый Сириус блистал», олень мчался
среди чащу зимнюю, в лунную ночь волки брели по снегам к гум-
ну. Или:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычу жду. Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я смело в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна.

Силы жизни, жажды жизни много в нем было в те годы.

На одном сборище таком встретил он у нас тихую барышню с
леонардовскими глазами, из старинной дворянской семьи... Вера
Николаевна Муромцева жила у родителей в Скатертном, училась
на курсах, вела жизнь степенную и просвещенную. С женой моей
была в давнишних добрых отношениях.

Тот вечер закончился частью в Литературном кружке, частью
в Большом Московском — очень поздно, и вряд ли мог кто-либо
тогда подумать, что недалеко время, когда обратится Вера Нико-
лаевна Муромцева в Веру Николаевну Бунину.

Но это именно и случилось. И весной следующего года уехали
они в дальнее путешествие.

* * *

Помню чтения «Астмы» в доме Муромцевых, в комнате Бу-
нина с гильзами, табаком — комнате как бы помещичьего дома
(только ружей на стене не хватало да легавой собаки). «Дерев-
ню» читал автор несколько вечеров, в столовой, под висячей лам-
пой, тоже по-деревенски. Слушали: брат Юлий, Телешов, покой-
ный Грузинский да мы с женой. Это было уже другое — новая
полоса в писании его, да и в жизни иное пришло. Он креп, рос,
временно отходил от лиризма более молодых лет. Через два-три
года выбрали его в Академию, по разряду изящной словесности,
и мы бурно отпраздновали это событие в московской «Праге».
Несколько позже — 25-летний его юбилей, тоже очень торже-
ственно, на всю Москву, чуть не целую неделю. Это значит уже
«маститый», академик.

Жизни же наши шли, как кому полагалось. Вместе прибли-
жались мы к рубежу, в грохоте и огне которого погибло все пре-
жнее — кроме таинственных следов в памяти и душе. К ним и
обращаешься теперь как бы из другого мира.

